Суровиным, но можно ли сомневаться, что «ужасная лживость» его бывшего друга сыграла здесь не последнюю роль!

Вообще большой, до сих пор не разгаданной загадкой представляется то обстоятельство, что Чехов, глубокий психолог, так долго не мог разобраться в тех людях, которые окружали его, и лишь потом, словно внезапно прозревший, увидел, что верить в их дружбу немыслимо. «Новых привязанностей нет,— признавался он в 1892 году,— а старые ржавеют мало-помалу и трещат под напором всесокрушающего времени».

Правда, с некоторыми из своих прежних друзей он все еще по инерции продолжал переписываться, но душевная тональность его переписки стала совершенно иной. И оттого так разительно непохожи последние три тома его писем на первые три. Словно написаны другим человеком! Из присущей ему деликатности он нередко сохранял в своих письмах видимость былого дружелюбия, но уже никому не писал нараспашку, стал холоднее и замкнутее, и, главное, из его писем совершенно исчезла та богатая словесная живопись, которой буквально сверкали первые три тома — вплоть до середины девяностых годов. Там он был готов без конца рисовать для друзей и родных все, что ни попадется ему на глаза: крестный ход, казацкую свадьбу, вагонного попутчика, степь; здесь ни красок, ни образов, словно ему уже не с кем делиться щедротами своей чеховской живописи.

Неизвестные автографы

Много лет назад, перебирая растрепанные и истерзанные книги на одном из книжных развалов, я нашел в жалком, самом бедственном состоянии книгу А. Чехова «Остров Сахалин» с дарственной авторской надписью Николаю Владимировичу Алтухову. Алтухов был прозектором Московского университета, однокурсником Чехова по медицинскому факультету.

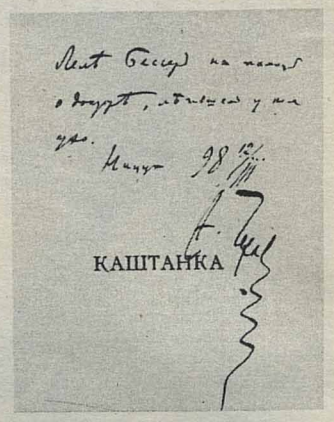
Я принес эту пострадавшую от времени книгу домой, отдал ее старому переплетчику, всегда принимавшему близко к сердцу судьбу книг, и он вернул книге жизнь: в отличном переплете стоит она у меня в шкафу и поныне.

Несколько лет спустя в мои руки попала другая книга Чехова, «Дуэль», с его автографом, подаренная актеру Александринского театра Павлу Матвеевичу Свободину, к которому Чехов испытывал чувство нежной дружбы. Свободин играл в пьесах Чехова роли Шабельского в «Иванове», Светловидова в «Калхасе», Ломова в «Предложении».

Из чеховской надписи на книге можно узнать, что Павла Матвеевича Свободина друзья называли ласково «Поль Матиас».

В 1898 году тяжелобольной Чехов провел некоторое время в Ницце. К нему обращались, видимо, за врачебной помощью некоторые из живших в Ницце русских. На маленькой книжке «Каштанка», хранящейся в моей библиотеке, есть надпись Чехова «Леле Бессер на память о докторе, лечившем у нее ухо».

Семейство Бессеров было знакомо Чехову по русскому пансиону в Ницце. Про Бессеров Чехов писал в письме А. А. Хотяинцевой: «У m-me Бессер желтая рубашечка с палевым воротничком, а у m-r Б[ессер] — лысина и лысина, и больше ничего». Леля Бессер была, видимо, маленькой дочкой Бессеров.



К книгам Чехова с его автографами у меня особое чувство; тонкий, нежный почерк Чехова как бы хранит отблеск его натуры, с величайшим сочувствием и уважением относившейся к любому человеку, который был достоин этого.

Вл. ЛИДИН

II

Нужно ли говорить, что то горькое разочарование в своих прежних друзьях, которое Чехову пришлось испытать, всякий раз вызывало в нем мучительную душевную боль?

«Меня окружает,— писал он сестре 14 января 1891 года,— густая атмосфера злого чувства, крайне неопределенного и для меня непонятного. Меня кормят обедами и поют мне пошлые дифирамбы и в то же время готовы меня съесть. За что? Черт их знает. Если бы я застрелился, то доставил бы этим большое удовольствие девяти десятым своих друзей и почитателей. И как мелко выражают свое мелкое чувство!.. Не люди, а какая-то плесень».

Окончательно он убедился в злостном двуличии этих людей в тот убийственный для его гордости день, когда на петербургских казенных подмостках так громко провалилась его «Чайка».

А. П. Чехов с матерью Евгенией Яковлевной в Ялте. 1901. Из архива С. М. Чехова.

«...Те,— писал Чехов,— с кем я до 17-го окт[ября] дружески и приятельски откровенничал, беспечно обедал, за кого ломал копья (как, например, Ясинский) — все эти имели странное выражение, ужасно странное...»

То было выражение злорадства. Как и всяким завистникам, этим людям было чрезвычайно приятно тяжкое горе человека, которому до той поры они изъявляли притворную преданность. Это злорадство Ясинского чувствуется в каждой строке его ругательной статейки о провалившейся чеховской пьесе.

Не странно ли, что Чехов лишь к середине девяностых годов окончательно убедился в двуличии этих людей и понял, что даже подруга его сестры, поэтесса, над которой он до недавнего времени так благодушно подтрунивал, тоже пропитана лживостью: «Она хитрит, как черт, но побуждения так мелки, что в результате выходит не черт, а крыса».

Словом, приближаясь к концу своего литературного поприща, Чехов мог с полным правом сказать о себе то, что позднее было сказано Блоком:

Было время надежды и веры большой —
Был я прост и доверчив, как ты.
Шел я к людям с открытой и детской душой,
Не пугаясь людской клеветы...

А теперь — тех надежд не отыщешь следа,
Все к далеким звездам унеслось.
И к кому шел с открытой душою тогда,
От того отвернуться пришлось.

До какого лицемерия доходили мнимые друзья и почитатели Чехова, мне лично привелось убедиться года через три после смерти писателя, когда, приехав в Петербург, я в несколько дней познакомился и с Потапенко, и с Леонтьевым-Щегловым, и с Ясинским, и с Гнедичем, и с Тихоновым-Луговым, и с Альбовым, и с Баранцевичем, и с другими представителями той писательской группы, которая казалась мне наиболее близкой к Чехову! Меня сильно удивила ее ничем не прикрытая враждебность к нему. Только Владимир Тихонов, Василий Немирович-Данченко да Леонтьев-Щеглов говорили о Чехове с непритворным сочувствием. Остальные были явно ущемлены его славой.

В июле 1890 года Владимир Тихонов, как мы недавно узнали, писал о Чехове в своем дневнике: «А сколько завистников у него между литераторами завелось. Альбов, Шеллер, Голицын, да мало ли!.. А некоторые из них, например, мой брат мне просто ненавистен за эту зависть и вечное хуление имени Чехова...»

Владимир Тихонов был гораздо талантливее своего самовлюбленного брата — Алексея Лугового, автора претенциозных романов, очень обижавшегося, если при нем хвалили, например, Льва Толстого. Он совершенно искренне считал себя непризнанным гением. Когда в разговоре с ним я стал изливать свой восторг перед Чеховым, он насупился и сердито сказал:

— Дутая знаменитость!

И поспешил перевести разговор на другое.

О том, как относились к нему все эти Ясинские, Шеллеры-Михайловы, Чехов понял с большим запозданием. Сам он был так непричастен ко лжи, что всякий раз, когда ему случалось натолкнуться на ложь окружающих, удивлялся ей как большой неожиданности. И каждый, кого Чехов уличал в обмане, переставал существовать для него.

Людям заурядной, житейской морали такое требовательное правдолюбие Чехова не могло не казаться чрезмерным.

Часто он видел ложь даже там, где на поверхностный взгляд не было никакого нарушения истины. Ибо даже истина, настаивал писатель, может ощущаться как ложь, если она внушена человеку каким-нибудь фальшивым побуждением.

Изолгавшаяся мать обманутого жизнью подростка (в рассказе «Володя») нисколько не грешит против правды, когда сообщает соседям о своем родстве с одной генеральской семьей. Володя, по словам Чехова, «знал отлично, что maman говорит правду; в ее рассказе... не было ни одного слова лжи, но тем не менее, все-таки он чувствовал, что она лжет. Ложь чувствовалась в ее манере говорить, в выражении лица, во взгляде, во всем.

— Вы лжете! — повторил Володя и ударил кулаком по столу с такой силой, что задрожала вся посуда и у maman расплескался чай.— Для чего вы рассказываете про генералов и баронесс? Все это ложь!»

Из чего следует, что даже безукоризненно правдивые факты могут ощущаться как самая лукавая ложь, если за ними скрываются какие-нибудь лицемерные помыслы.

Таков был чеховский максимализм правдивости.

III

Этот максимализм правдивости сослужил Чехову великую службу в его борьбе, как сказал бы Белинский, с «гнусной расейской действительностью».

Когда в 1888 году Чехов начал свой великий поход против лжи, царившей во всех жизненных отношениях тогдашних людей, и написал для «Северного вестника» обличительный рассказ «Именины», о котором мы говорили, редактор по прочтении рукописи сообщил молодому писателю, что считает его рассказ безыдейным. «...Я не вижу в Вашем рассказе никакого направления»,— писал он.